

Семейка / рассказ

Category: Некаýалар, Кітарсу

написано кітарсу | 24 января, 2025

Семейка / рассказ СЕМЕЙКА

Я ехал повидаться с моим другом Симоном Радвенем, с которым не встречался целых пятнадцать лет.

Когда-то это был мой лучший, душевный друг – друг, с которым проводишь долгие вечера, и тихие и шумные, которому поверяешь сердечные тайны, для которого находишь в мирной беседе изысканные, тонкие, остроумные, изящные мысли, рождаемые той душевной близостью, что возбуждает ум и открывает ему полный простор.

В течение ряда лет мы были неразлучны. Мы вместе жили, путешествовали, думали, мечтали, любили одинаковой любовью одно и то же, восхищались одними и теми же книгами, понимали одни и те же произведения искусства, трепетали от одних и тех же ощущений и так часто вместе смеялись над одними и теми же людьми, что с одного взгляда вполне понимали друг друга.

Потом он женился. Женился неожиданно на молоденькой провинциалке, приехавшей в Париж искать жениха. Каким образом эта маленькая блондиночка, худая, с нескладными руками, пустыми светлыми глазами, звонким глупым голоском, похожая на сотню тысяч других кукол на выданье, каким образом подцепила она этого умного и тонкого человека? Но разве такие вещи доступны пониманию? Он, наверное, мечтал о счастье, простом счастье, тихом и длительном, в объятиях хорошей, нежной и верной жены, и оно вдруг мелькнуло ему в прозрачном взгляде этой белобрысой девчонки.

Он не подумал, что человек деятельный, живой и впечатлительный неминуемо стоскуется в тисках пошлой жизни, если только не отупеет до такой степени, что перестанет что-либо понимать.

Каким я найду его? По-прежнему живым, умным, насмешливым и восторженным, или же провинциальная среда усыпила его? За пятнадцать лет человек может сильно измениться!

Поезд остановился на маленькой станции. Едва я вышел из вагона, какой-то толстый-претолстый краснощекий мужчина с круглым брюшком устремился ко мне и, раскрыв объятия, закричал: «Жорж!» Мы обнялись, хоть я его и не узнал. Потом я пробормотал с изумлением:

– Черт побери, ты не похудел!

Он ответил, смеясь:

– Что поделаешь? Хорошая жизнь, хороший стол, хороший сон! Ем и сплю – вот в чем мое существование!

Я всматривался в него, стараясь отыскать в этой расплывшейся физиономии любимые мною черты. Только глаза не изменились, но я не находил в них больше знакомого выражения и думал: «Если действительно взгляд – зеркало мысли, то в этой голове уже не те мысли, что были прежде, не те, что я знал так хорошо».

Хотя его глаза поблескивали весело и дружелюбно, в них больше не было того свечения ума, которое не меньше, чем речь, свидетельствует о силе интеллекта.

Вдруг Симон сказал мне:

– Ну, а вот двое моих старших.

Девочка лет четырнадцати, почти девушка, и тринадцатилетний мальчик в форме ученика коллежа, неловкие и застенчивые, приблизились ко мне.

Я пробормотал:

– Это твои?

Он ответил, смеясь:

– Ну да.

– Сколько же их у тебя?

– Пятеро! Трое младших остались дома.

Он сказал это с гордостью, удовлетворенно и почти торжествующе, и меня охватила вдруг глубокая жалость, смешанная со смутным презрением к этому горделивому и наивному производителю, который жил в своем провинциальном доме, как кролик в клетке, и ночами, в перерыве между двумя свиданиями, зачинал детей.

Я сел в коляску, которой правил он сам, и мы поехали по городу, скучному, сонному, унылому городу, где ничто не оживляло улиц, за исключением нескольких собак и двух – трех

нянек. Время от времени какой-нибудь торговец, стоявший на пороге своей лавчонки, приподнимал шляпу; Симон отвечал на поклоны, называя мне каждого по имени, – вероятно, с целью показать, что знает, как зовут всех жителей. Мне пришло в голову, уж не подумывает ли он пройти в депутаты, – мечта всех, кого засосала провинция.

Мы быстро миновали город; коляска въехала в сад, притязавший называться парком, и остановилась у дома с башенками, старавшегося выдать себя за замок.

– Вот и моя берлога, – сказал Симон, напрашиваясь на комплимент.

Я ответил:

– Прекрасный дом!

На крыльце появилась дама, разряженная для гостей, причесанная для гостей, с готовыми для гостей фразами. Это была уже не прежняя белокурая вялая девочка, которую я видел в церкви пятнадцать лет тому назад, а полная дама в кудряшках и в оборках, одна из тех дам, у которых нет ни возраста, ни характера, ни изящества, ни ума, – ничего, что создает женщину. То была мамаша, толстая заурядная мамаша, наседка, производительница, машина плоти, которая рождает и не интересуется ничем, кроме своих детей и поваренной книги.

Она приветствовала меня, и я вошел в прихожую, где трое карапузов, выстроенные по росту, казалось, были выведены сюда на смотр, словно пожарные в ожидании мэра.

– Ага! Так это остальные? – воскликнул я.

Симон, сияя, назвал всех по именам:

– Жан, Софи и Гонтран.

Дверь в гостиную была отворена. Я направился туда и заметил нечто трепыхавшееся в кресле, – это был старый, парализованный человек.

Подошла г-жа Радвен:

– Мой дедушка, сударь. Ему восемьдесят семь лет.

Затем она крикнула дрожащему старцу в самое ухо:

– Это товарищ Симона, дедушка!

Предок сделал усилие, чтобы поздороваться со мной, и

закудахтал: «Уа, уа, уа», помахав рукой. Я ответил, «Вы очень любезны, сударь!» – и в изнеможении опустился на стул.

Симон, войдя, засмеялся:

– Ха-ха! Так ты уже познакомился с нашим дедушкой? Это уморительный старичок, потеха для детей. Он лакомка, мой дорогой, и за каждой трапезой готов обожраться до смерти. Ты не представляешь, сколько бы он съел, если бы дать ему волю! Но ты увидишь, увидишь! Он делает глазки сладким блюдам, как барышням. Ничего забавнее тебе во всю жизнь не встретится, да, впрочем, сейчас ты сам увидишь.

Потом меня повели в отведенную мне комнату, чтобы я переоделся, так как наступал обеденный час. Подымаясь по лестнице, я услышал громкий топот и обернулся. Все дети шли за мной целой процессией, позади отца, – несомненно, чтобы оказать мне честь.

Моя комната выходила на равнину, бесконечную, совершенно гладкую равнину, на целый океан травы, пшеницы и овса, без единой рощицы, без единого холма, – поразительное и печальное подобие той жизни, которую, должно быть, ведут в этом доме.

Прозвенел звонок: звали к обеду. Я спустился. Г-жа Радвен торжественно взяла меня под руку, и мы прошли в столовую. Слуга подкатил кресло параличного; очутившись перед прибором, старик сразу бросил жадный, любопытный взгляд на десерт и с трудом поворачивал трясущуюся голову от одного блюда к другому.

Симон потирал руки. «Теперь ты позабавишься», – сказал он мне. И все дети, поняв, что меня хотят угостить зрелищем дедушки-лакомки, дружно рассмеялись, а мать только улыбнулась, пожав плечами.

Радвен приставил руки рупором к губам и завопил к уху старику: – Сегодня у нас сладкий рис со взбитыми сливками!

Сморщенное лицо дедушки засияло, и он еще сильнее затрясся с головы до ног, желая показать, что понял и доволен.

Обед начался.

– Смотри, – зашептал Симон.

Дедушка не любил супа и отказывался есть. Его принуждали к этому здоровья ради; слуга насильно вливал ему в рот полную

ложку, а старик энергично отфыркивался, чтобы не глотать бульона, который, таким образом, струей вылетал на стол и на соседей.

Дети хохотали в полном восторге, а их папаша, тоже чрезвычайно довольный, повторял:

– Правда ведь, забавный старик?

В течение всего обеда занимались только им. Он пожирал взглядом расставленные на столе блюда и трясущейся рукой старался схватить их и подвинуть к себе. Их ставили почти около него, чтобы полюбоваться тщетными усилиями параличного, судорожным устремлением, отчаянную тягой к ним всего его существа – глаз, рта, носа, вдыхавшего запаха. От жадности у него на салфетку текли слюни, и он издавал какое-то урчание. Все семейство наслаждалось этой гнусной и чудовищной пыткой.

Потом ему на тарелку клали крохотный кусочек, и старик съедал его с лихорадочной прожорливостью, чтобы поскорее получить что-нибудь еще.

Когда подали сладкий рис, у него начались почти что конвульсии. Он стонал от желания.

Гонтран крикнул:

– Вы ели уже слишком много, сладкого не получите!

И хозяйева сделали вид, что старику больше не дадут ничего.

Тогда он заплакал. Он плакал, дрожа все сильнее и сильнее, а дети хохотали.

Наконец ему принесли его порцию, крохотную порцию; когда он взял в рот первую ложечку, из его горла вырвался смешной и жадный звук, и он сделал движение шеей, как утка, заглатывающая слишком большой кусок.

Покончив со сладким, он начал топтать ногами, чтобы получить еще.

Проникшись жалостью к пытке этого трогательного и смешного Тантала, я вступился за него:

– Дайте же ему еще немного риса!

– Нет, дорогой мой, – ответил Симон, – в его возрасте вредно есть слишком много.

Я замолчал, раздумывая над этим ответом. О мораль, о логика, о мудрость! В его возрасте! Значит, беднягу ради его же здоровья

лишают единственного удовольствия, которое он еще способен ощутить. Здоровье! Да на что оно этой неподвижной, дрожащей развалине? Чтобы продлить его дни, как говорится. Его дни? Сколько же их осталось? Десять, двадцать, пятьдесят, сто? И зачем? Для него самого? Или затем, чтобы продлить для семьи зрелище его бессильной прожорливости?

Ему нечего было больше делать в этой жизни, нечего! Одно только желание осталось у него, одна радость; почему же не дать ему полностью эту последнюю радость? Даже если бы он и умер из-за нее!

Потом, после долгой игры в карты, я отправился к себе в комнату спать; мне было грустно, грустно, грустно!

Я подошел к окну. В саду слышалось только очень слабое, нежное и красивое щебетание птицы, сидевшей где-то на дереве. Птица баюкала свою самочку, заснувшую на яйцах, и тихо пела для нее среди ночи.

И я подумал о пятерых отпрысках моего бедного друга, который, должно быть, храпел в это время возле своей противной жены.

* * *

Напечатано в «Жиль Блас» 3 августа 1886 года.

Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 6. МП «Аурика», 1994

Перевод К.Локса. Некауáлар